

Воспоминания М.А. Богуславской об А.И. Сумбатове-Южине

Марии Александровне Богуславской (1902–1983) довелось жить в переломный двадцатый век и стать одним из последних свидетелей эпохи, в которую творили титаны российской предреволюционной культуры. В ряду их имен неотъемлемой является личность князя А.И. Сумбатова (Южина).

Невозможно переоценить роль, которую сыграла в увековечении памяти Александра Ивановича его вдова Мария Николаевна. Для нее это стало делом жизни, и его продолжила Мария Александровна. Рано потеряв отца, она росла в доме дяди, где во многом благодаря гармоничным отношениям двух замечательных женщин, ее матери Екатерины Ивановны (родной сестры Александра Ивановича) и Марии Николаевны, была создана совершенно особая атмосфера. В ней, несомненно, и заключается источник поистине дочерней любви Марии Александровны к Александру Ивановичу, без которой были бы невозможны предлагаемые вашему вниманию воспоминания. М.А. Богуславская написала их не позднее 1938 г.; при ее жизни на основе их фрагментов было опубликовано лишь «Вместо послесловия» к монографии Д.И. Чхиквишвили «Александр Иванович Сумбатов-Южин: Жизнь и творчество» (Тбилиси: Тбилисский университет; Московский университет, 1982) – переработанный, отмеченный печатью цензуры текст. Настоящая публикация оригинального варианта воспоминаний подготовлена по экземпляру, хранящемуся в семье. Я глубоко благодарен главному научному сотруднику РГАЛИ Е.В. Бронниковой за помощь в сверке текста с экземпляром из архива.

А.Ю. Корф

С тех пор, как я помню себя, я помню и дядю Шуру. Поэтому особенно трудно упорядочить эти воспоминания, бывшие, в сущности, всей моей жизнью.

Самые первые воспоминания о нем у меня связаны с Покровским¹. Именно там я помню его в первый раз. Он только что приехал из-за границы, куда обычно ездил ежегодно. Мне тогда было года два с половиной. С утра одели меня в нарядное платьице, велели не пачкать его и повели здороваться с дядей Шурой в столовую. Он вошел широкоплечий, высокий, в мягкой рубашке с широким поясом. На плече у него сидела девочка, беленькая, хорошенская, с завитыми кудряшками, ростом примерно с меня. Я подошла поздороваться и, надо сознаться, довольно враждебно покосилась на девочку, не понимая, кто она и откуда... Целую бритую щеку, пахнувшую хорошими, «вкусными», как я говорила, духами, я выяснила, что девочка была огромной куклой, привезенной мне в подарок. Горячая, бескорыстная нежность к дяде Шуре, беспредельный восторг от игрушки и... слезы, так как поднять куклу мне было не под силу.

Воспоминания М.А. Богуславской об А.И. Сумбатове-Южине



Муля с матерью Екатериной Ивановной

В то время в кабинете дяди Шуры в Покровском стояла мебель карельской березы, покрытая пестрой кустарной обивкой, большой письменный стол с низким креслом перед ним, по обе стороны балконной двери стояли два небольших книжных шкафа, против стола – низкая большая тахта с тугими пружинами и около нее – высокая лампа. На столе было много карандашей, всевозможных ручек, флаконов с разноцветными чернилами – дядя Шура питал постоянную слабость к хорошим письменным принадлежностям – и – предмет моего восторга – какая-то

махинация из бронзы для четырех или шести свечей с зеленым абажуром, который опускался и поднимался по желанию. На стене висела прекрасная гравюра Наполеона, которая впоследствии перешла в его кабинет и в новом доме.

Рядом с кабинетом была угловая комната, служившая ему уборной: там он брился и одевался. Меблирована она была двумя диванами, высоким и низким, небольшим столом перед висячим зеркалом, умывальником; около диванов стояли какие-то смешные высокие столики-шкафчики. Там же, у кабинетной стены красовался громадный шкаф – работы дяди Шуры и его лакея Михайлы. Шкаф, тяжелый и неудобный, покрашенный желтой краской «под орех», был объектом естественной гордости обоих создателей. (В новом доме этот шкаф был сослан в буфетную.)

Летом в Покровском обычно гостило много молодежи. Дядя Шура любил, чтобы кругом него было много жизни и веселья, но сам он большую часть дня проводил у себя в кабинете. Он выходил лишь к кофе по утрам, и днем – к обеду. После обеда отдыхал, пятичасовой чай пил в своей комнате и после чая ходил со всеми нами играть в теннис. В игре удар у него был прекрасный, невероятно сильный, но бегать по площадке он не любил, и его партнеру всегда приходилось туго. После тенниса, когда уже смеркалось, ходили гулять к лесу, то есть версты две туда и обратно. В девять-десять часов вечера ужинали и пили чай, после чего обычно играли в карты – редко в винт или преферанс, а чаще – в «подкидного дурака» или «зеваки». Для каждой, самой незначительной игры дядя Шура всегда придумывал свою систему, сообщавшую игре особенный интерес и оживление. Любил обыгрывать и дразнить проигравших партнеров, особенно – мою маму и бывшую у него одно время секретарем Л.А. Доброву².

Зимой я видела его значительно реже, так как он постоянно был очень занят.

В 1907 г. дядя Шура праздновал свой двадцатипятилетний юбилей. Я была слишком мала, и в театр меня не взяли, но утром, когда я встала и прошла по комнатам, я увидела, что наша квартира превратилась в сплошной цветочный магазин. На столах стояли огромные корзины цветов, чудесные букеты; лавровые венки были сложены один на другой. Обилию последних особенно радовалась наша старенькая Петровнушка, представлявшая в своем воображении, на сколько супов хватит этих венков.

К тому времени меня уже начали учить французскому языку, и я должна была произнести по-французски какое-то длинное, с трудными словами, витиеватое приветствие. Оно для меня было так сложно, что все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы не спутать слова, но последние строчки были уже легче, я подняла глаза на слушавшего меня дядю Шуру и на всю жизнь запомнила взгляд гордости и восхищения, которым он на меня смотрел.

Каждое утро ему в постель приносили на подносе два налитых стакана кофе (он любил очень сладко, куска по четыре сахара в стакан) и калач с маслом. Я скреблась в его дверь и пищала тоненьким голосом: «*Puis-je entrer?*»³. Сматривая по обстоятельствам, получала в ответ или: «*Entre, ma petite*»⁴, или «*Attends un peu*»⁵. И когда можно было войти, я подходила к кровати, целовала его, каждый раз с новым интересом рассматривала его поразительно розовые, словно накрашенные ладони, квадратно-продолговатые красивые ногти, гладила бронзовую собачку на пепельнице, стоявшей на тумбочке у кровати, и аккуратно снимала с ее хвостика потущенную папирису. Мне полагалась ручка калача, обмакнутая в кофе (вкусна она была необычайно!), которую я съедала, пока дядя Шура пил кофе и просматривал газеты. Газет было множество: «Русское слово», «Утро России», «Раннее утро», от тети Маруси приносили «Русские ведомости», были и журналы – «Рампа и жизнь», «Новости сезона» и другие. Картинки в журналах были интересны, газеты – нет. Я уходила, с аппетитом расправившись со своим первым завтраком, и возвращалась уже вместе с парикмахером, приходившим каждое утро обрить дядю Шуру и завивать его мягонькие, словно шелковый пух волосы, без завивки они никак не лежали. Затем начинался процесс одевания, и я изгонялась без милосердия до того времени, когда дядя Шура, уже вполне одетый, душил платок. Душился он духами «Идеал» *Houbigant*, которые я очень любила. Одевался он всегда превосходно, часто менял костюмы, и мне всегда было интересно посмотреть, что именно он сегодня наденет. Выходя в переднюю, он закутывался в большую, широкую ильковую шубу и уезжал в театр.

Дядя Шура возвращался к обеду в неопределенное время. Обедал долго, особенно долго закусывал, много разговаривал, забыв про еду, и суп часто ел совсем холодный. После обеда он отдыхал столько, сколько мог, от двадцати минут до одного часу, и просыпался с трудом. Бывало, бедный Михайло, с заранее сокрушенным лицом, входил в спальню и осторожно будил его – я тихонько сидела в передней около двух чеко-



А.И. Южин. 1898

данов с костюмами и слышала каждый день одинаковый диалог: «Александр Иваныч, вставайте, опоздаете!». «Еще пять минут», – отвечал сонный голос. Через пять минут снова: «Александр Иваныч, вставайте!...». И так по несколько раз иногда...

Дядя Шура невыносимо боялся мышей. В московском кабинете под письменным столом лежала большая медвежья шкура – это было мое любимое место. Лежа на медведе, я мечтала, иногда читала, трепала медведя и скребла дяди Шурин сапог. Он знал, что это не мышь, а «мышька», как он часто меня называл. Названия он придумывал мне самые различные: поочередно я была «Страшным жуликом», «Мышкой», «Пики-Зильтоном», «Плюховым шариком» и так далее без конца. Как-то я принесла на письменный стол двух прелестных котят, которые только что открыли глаза и были страшно забавны. Мы с дядей Шурой играли с ними, пока один из них не сунул свою мордочку в чернильницу и не испортил тем своей репутации. Кошек дядя Шура не любил потому, что они, по его мнению, соприкасаясь с мышами, сами становились противными... Но котята были еще безгрешны, и к ним он был милостив.

Воспоминания М.А. Богуславской об А.И. Сумбатове-Южине

Я помню, как однажды в Покровском, гуляя, мы зашли с ним на мельницу, и дядя Шура, проходя мимо ворот, вдруг побледнел и отпрянул в сторону. Я испугалась, спрашивая, что случилось. Он отвечает: «Мышь!». И там же, в Покровском – когда мы играли в теннис, кроме него были одни только дамы – неожиданно из-за кустов выбежал очень злой бык Мишка, вырвавшийся со скотного двора. Женщины, немедленно захватив меня с собою, побежали за кусты, а дядя Шура остался перед быком с поднятою ракеткой и стоял так, пока не прибежали пастухи.

Когда дядя Шура приезжал в Покровское, весь дом как-то подтягивался. Все старались получше одеться, дорожки посыпались толченым кирпичом и песком, который, правда, неукоснительно смывался дождями, лошадей кормили усиленно. Если он приезжал днем, я выходила встречать его в поле, и было весело смотреть на тройку мчавшихся лошадей, словно летевших между высокими волнами ржи... Ну, и ездили же с ним кучера! В полтора раза быстрее, чем с обычновенными смертными!

Кучера в Покровском менялись довольно часто. Первый, кого я запомнила, был Архип, но его деятельность была прервана в результате одной из поездок на станцию Тербуны, отстоявшую на 35 верст от Покровского. Он выехал туда за гостями, но на станции жестоко напился и по пути домой свалился с козел в канаву. Лошади встали, и семья Софьи Валентиновны Лысцевой-Гольцевой – трое детей и няня Феня – оказалась в незавидном положении. Выручила всех Феня. Она взяли вожжи в руки, и лошади сами нашли дорогу к дому. На смену пришли кучера Изот и Денис, последний, бывший кавалерист, учил меня верховой езде по всем правилам, которые впоследствии заслужили одобрение персонала московского манежа Гвоздева. Но в первый раз, когда меня водрузили на спину старой и высокой рыжей кобылы Турчанки, ох, как же мне было страшно! Земля казалась так далеко внизу... В Первую мировую войну и Изота, и Дениса взяли в армию, и был взят молодой кучер Дмитрий, который с тройкой управлялся хуже меня. Левая пристяжная Змейка, обладавшая плохим характером, выпрыгивала из постремок и неожиданно валилась на бок, а Дмитрий, не умея призвать ее к порядку, хладнокровно помахивал кнутом и приговаривал: «Ляжь, ляжь, поваляйся». Вскоре призвали в армию и Дмитрия. Пришлось доверить тройку конюху Родиону, в свое время разжалованному из кучеров за пьянство и бесчинство. На деревне, не знаю почему, звали его Варивоном, а у нас он получил прозвище «Ла Фрез», то есть

клубника, за постоянно красный, в каких-то рывинах и ямах крупный нос. Кучер он был отменный, лошадей любил страстно, и поскольку я много времени проводила в конюшне, мы с ним крепко сдружились и вместе сетовали на то, что тетя Маруся отдавала предпочтение лошадям рабочим, то есть нужным в нашем небольшом хозяйстве, а не ездовым. Как-то будучи сильно пьяным, Родион сказал: «Ну, погоди, вот Марья Миколавна помрет, мы с тобой таких лошадей заведем». На эти слова я крепко на него рассердилась, но... ненадолго: без конюшни я жить не могла. И до сих пор я с нежностью вспоминаю запах свежего конского навоза и протертой дегтем сбруи...

В 1912 г. в Покровском праздновалась серебряная свадьба дяди Шуры с тетей Марусей. Задолго готовились к этому дню. С вечера и ранним утром вся гостившая у нас молодежь ходила в поле и в лес, и к восьми часам утра весь старый дом был убран гирляндами и вензелями из дубовых листьев и васильков. Срезаны были все самые красивые цветы, во избежание дождя записаны в списки «сорок лысых», на всех надеты нарядные платья. День удался чудесный – ясный и солнечный. Начался праздник с того, что дядя Шура всем роздал подарки, выбранные им у Лори⁶, кажется, с помощью Марии Сафоновны Лазаревой⁷, торжественно пили кофе, потом на большую лужайку перед домом собирались крестьяне. Были вынесены четверти водки, бельевые корзины с пряниками, конфетами и другими сладостями, один крестьянин читал очень прочувственную речь, громко все кричали «ура», дядя Шура говорил ответное слово. Нечего говорить о его настроении в этот знаменательный день, достаточно взглянуть на карточки, снятые тогда, чтобы увидеть его взволнованное, радостное лицо.

Это лето старый дом стоял последний год. Осенью он сгорел.

Почти сейчас же после пожара дядя Шура стал проектировать постройку нового дома. Проекты эти были самые реальные, каждую свободную минуту он аккуратно вычерчивал подробный план дома со всеми деталями по расположению мебели в комнатах. Работа эта отнимала у него много времени, но она его не утомляла, – он отдыхал, работая над планом создаваемого им гнезда, любовно обдумывал вместе с тетей Марусей каждую мелочь. Дело шло быстро, и ранней весной тетя Маруся уже уехала в Покровское, чтобы начать стройку. Позднее, кончив сезон, дядя Шура тоже поехал туда, но ненадолго, простудился и слег с долгие годы мучившей его ангиной. Это были первые числа мая, и сирень, которой были полны покровские сады, цвела с невероятной пышностью.

Воспоминания М.А. Богуславской об А.И. Сумбатове-Южине

Сиреневая неделя в Покровском всегда была прекрасна, и впоследствии, когда дядя Шура писал «Ночной туман», он говорил, что первые мысли об этой пьесе зародились у него во время этой сиреневой недели.

Благодаря неутомимой энергии тети Маруси дом строился быстро, и в июне 1914 г. мы уже переехали в него. В течение всей зимы и весны дядя Шура, постоянно занятый работой в театре и перегруженный всяческими общественными делами и обязанностями, находил все же время, чтобы ездить на окраинные заводы, заказывать двери, рамы, мебель, выбирать обивку и шторы. Иногда он брал с собой и меня, освобождая от одной из «мучительниц». На плане дома было вырисовано место каждого стула и стола, выбрана в цвет окраска стен, все было тщательно продумано, и когда все оказалось на месте, и последняя картина повешена на определенный гвоздь, – дом получился совсем таким, как он его себе мыслил. И действительно, трудно было устроить его удобнее и лучше.

Вместе с дядей Шурой я занималась уборкой его кабинета и уборной. В уборной, как и в старом доме, стояли два дивана, низких, больших, один плюшевый, другой вроде тахты, умывальник, гардероб с зеркалом и туалетный стол. Окно и балконная дверь выходили на террасу, ведущую на большую аллею. Обивка мебели была темно-зеленая, мебель темного дуба, стены выкрашены в фисташковый цвет. Кабинет был очень светлый. Это была угловая комната, выходившая сразу на два балкона. Помимо балконных дверей, были еще два окна, стены были окрашены в цвет терракот. Необычно приветлива и красива была в кабинете мебель из грушевого дерева, обитая голубой кожей. Возле стены стоял большой красный диван, на котором дядя Шура любил отдыхать после обеда. Над диваном висел портрет Наполеона, сохранившийся от старого дома. Большой письменный стол стоял почти посередине комнаты, сплошь заставленный новыми, с особой любовью выбранными письменными принадлежностями, ручками различных цветов и фасонов, множеством разных чернильниц с цветными чернилами, подставочками для карандашей. Против стола разместился большой книжный шкаф. С обеих сторон окна находились книжные полки.

Когда мы вместе убирали кабинет, дядя Шура сидел за столом и вписывал книги, которые я расставляла по его указанию, в маленький «carnet»⁸. Среди книг я нашла «Декамерона».

— Что это? Мне можно прочесть?.. – спросила я.

— Я тебе не советую, – сказал дядя Шура совершенно серьезно, хотя мне было всего лет двенадцать. – Сейчас ты ничего не поймешь,



Н.П. Феофилактов.
А.И. Южин гримируется.
Болингброк, «Стакан воды»
Э. Скриба. 1923

и тебе будет просто неинтересно. Книги надо читать вовремя, чтобы ничего из прочитанного не пропало для тебя даром, чтобы ты все сумела оценить.

И после, когда я спрашивала его, что мне можно читать, он никогда и ничего не запрещал мне, а только советовал и просил подождать, а иногда просто говорил, что не стоит. И я с гордостью могу сказать, что ни одной книги я не прочла от него потихоньку. Не знаю, хотел ли он этого, или это выходило у него бессознательно, так как он никогда не наставлял меня, а только говорил со мною, но этим самым он руководил мною безошибочно, верно угадывая и подмечая слабые стороны моего характера и, подчеркивая их, заставлял меня стараться избавляться от них.

Зимой мы никогда не обедали в определенное время, обычно поджидая дядю Шуру с репетиции или заседания. Но случалось и так, что он приедет, а мамы и тети Маруси еще дома нет. И вот мы с ним вдвоем, а иногда с Элен⁹ и Колей¹⁰, и Сумбатовым ждем их и хохочем, острим. Для меня это было лучшее время дня.

Воспоминания М.А. Богуславской об А.И. Сумбатове-Южине



М.Н. Ермолова – Королева Анна, А.И. Южин – Болингброк. «Стакан воды». Малый театр. 1915

Однажды мы с дядей Шурой сидели вдвоем на жестком диванчике в передней, поджиная маму и тетю Марусю. Раздался звонок, и мы в полной уверенности, что это они, не скрылись. Но отворилась дверь, и вошел артист театра Корша А.И. Чарин, который в то время очень хотел перейти в Малый театр. Говорить, что дяди Шуры нет дома, было бесполезно, пришлось его принять. Дядя Шура позволил мне пройти с ними в кабинет, и мое присутствие оказалось должное действие: Чарин не засиделся. На другой день входит дядя Шура ко мне в детскую, держа в руках большую коробку конфет с приколотой визитной карточкой.

— На тебе, скверный поросенок, твои отвратительные конфеты! Я только что отдал за них коробку своих лучших сигар...

Оказалось, что конфеты принес Чарин «для Вашей милой племянницы», и так как дядя Шура терпеть не мог никаких любезностей, прямых или косвенных, то поспешил отдарить его своими сигарами. Но мне нисколько их не было жалко, а конфеты от чужого взрослого господина, да еще с визитной карточкой поразили меня в самое сердце.

Дядя Шура был очень дружен с покойным Михаилом Александровичем Стаковичем, который часто бывал проездом в Москве и всегда у нас останавливался. Дядя Шура любил его, уважал и всегда очень считался с его мнением. Их разговоры за столом, когда они спорили на всевозможные темы, были наслаждением даже для меня, еще совсем маленькой

девочки. Долго они сидели за остывающим супом, за разговорами – на обед уходили целые часы. И я все не в силах была выйти из-за стола, жадно вслушиваясь в их речи. Дядя Шура горячился, Михаил Александрович был спокойнее. И часто, когда дядя Шура, увлекаясь, повышал голос, Михаил Александрович тихо и укоризненно говорил ему: «Шаша, за что ты на меня кричишь?». Дядя Шура возмущался, но смеялся и все-таки голос понижал. Михаил Александрович постоянно цитировал Пушкина. Однажды я не хотела что-то съесть, но мама уговорила меня, и я должна была уступить. Михаил Александрович посмотрел на меня, улыбаясь и поглаживая свою холеную бороду, и слегка в нос сказал: «Подумала и стала кушать...». Дядя Шура любил устраивать мне экзамены и тут же спросил: «Мулька, откуда это?». Я вспыхнула и забыла. Дядя Шура был смущен моим невежеством и недоволен – он не любил, чтобы обманывали его ожидания.

Мне так жаль, что по вине моего возраста и плохой памяти мне не удалось запомнить темы их разговоров. Я только помню самый факт бесконечных и интереснейших споров.

В первую нашу заграничную поездку я плохо помню дядю Шуру, зато отлично помню его в 1913 г. Дядя Шура был за границей, мы – в Покровском. Встретиться условились в Праге и оттуда – уже вместе – ехать в Карлсбад. В четыре часа утра приехали мы на пустынный в тот ранний час пражский вокзал – его нет. Решили, что он проспал и опоздал к нашему поезду. Куда идти? Долго мы в Праге оставаться на собирались, и носильщики предложили нам отвезти наши вещи на ручной тележке в ближайшую гостиницу, куда мы могли дойти пешком. Мы пошли впереди, а за нами носильщики везли тележку с нашими вещами. С нами в поездке была тетя Вера¹¹, и у нее и у тети Маруси с мамочкой были взяты за границу патриархальные русские «подушки», то есть мешки для подушек, в которые обычно в последнюю минуту впихивались все не влезавшие в чемоданы предметы. Подушки распирались до невероятных размеров. Эти-то подушки плюс изрядное количество чемоданов, портсаков, баулов и... зонтиков тети Веры везли на тележке носильщики. Мы взяли в гостинице смежные номера. Я встала у окна нашей комнаты и, разбиная свой чемоданчик, глядела на улицу. Было достаточно еще рано, и улица была пуста. Напротив гостиницы над каким-то магазином висела длинная вывеска «Голденер Фазан», и посреди нее был нарисован золотой петух. И вот по тротуару, под самой вывеской устало идет какой-то полный, элегантный господин

Воспоминания М.А. Богуславской об А.И. Сумбатове-Южине



М.А. Богуславская в молодости

в сером костюме, в панаме, низко надвинутой на глаза, и с тросточкой в руке. Что-то странно знакомое показалось мне в его усталой походке... Я пригляделась внимательней и громко завопила: «Дядя Шура!.. Сюда!.. Мы здесь!..». Он быстро поднял голову, сделал мне знак не кричать, и через минуту мы были уже вместе.

Все скоро объяснилось. Дядя Шура действительно опоздал к поезду и, выходя из вокзала, после тщетных поисков увидел на тележке какие-то родные «подушки». Пошел за ними, но за поворотами улиц потерял их из виду и был в полном недоумении, из которого его вывел мой «поросячий визг», сразу определивший для него наше местопребывание.

В тот день мы обедали в ресторане возле этой гостиницы, заказали обед, дядя Шура взял какую-то рыбу, от которой мы все отказались. Но получилось так, что эту самую рыбу подали прежде других блюд. Мама сразу же приняла на себя хозяйствственные обязанности и разложила принесенную рыбку всем по тарелкам. Когда остался маленький кусочек, мама спросила: «Шура, а ты не хочешь рыбки?». И дядя Шура, жалобно улыбнувшись, сказал: «Пожалуйста, тем более, что кроме меня ее никто и не заказывал». Ужасно было смешно, а мама была в отчаянии.

В Карлсбаде, куда мы выехали из Праги, было безумно скучно. Мама и тети пили карлсбадскую воду, много ходили, и я мучилась, так как, будучи толстой, терпеть не могла прогулки пешком и изнывала летом в перчатках и шляпке. Один дядя Шура умел сделать обстановку сразу веселой. Я твердо знала, что когда мы вечером шли гулять в обязательный Постхоф или Кайзерхоф, то, во-первых, мы зайдем в кафе пить меланж из высоких стаканов, а потом к кафе будет вызвано такси, и обратно не придется тащиться пешком. От нечего делать по вечерам мы часто ходили в кино. Помню одну картину, которой дядя Шура чрезвычайно восхищался. В картине какой-то доктор отравлялся стрихнином и умирал в страшных мучениях. Играли он превосходно, и дядя Шура говорил: «Такой талант примиряет меня с кино». Позднее, году в восемнадцатом, кажется, прислала дяде Шуре Гзовская билет на просмотр «Иолы». Дядя Шура, никогда в Москве не ходивший в кино, почему-то решил пойти и взял меня с собою. Мы пришли поздно, знакомых было много, и пока мы со всеми здоровались, начали тушить свет. Вдруг к своему ужасу я замечала, что дядя Шура направляется к первому ряду. Его окликают: «Куда Вы?...». Советуют сесть подальше, но он непоколебим. «Я не могу смотреть, когда передо мною маячат чужие головы». Так мы и просмотрели всю картину из первого ряда...

В Карлсбаде мы делали чудные автомобильные прогулки в Гисхюбль и Каренбад, причем, когда мы возвращались, уже бывало темно, и наши фары освещали на скамейках парка обнявшиеся парочки. Дядя Шура усиленно пытался отвлечь мое внимание от них. Обедали мы в Штадтпарке, кормили там тяжело, и мы после обеда ходили с дядей Шурой делать покупки – больше для моциона, а заодно и для проверки моего немецкого языка. Все шло благополучно, пока однажды нам не завернули вместо цветных карандашей сургуч. Сколько насмешек посыпалось на мою бедную голову!.. Но дядя Шура сам немецкого языка не знал и сказал как-то горничной в Берлине: «*Bitte, schinken sie mir mein ueberrock*¹²», желая, чтобы она почистила ему пальто. Изводить и дразнить дядя Шура любил необыкновенно, но всегда это делал так, что не было обидно, а только весело и смешно. Приподнимет, бывало, правую бровь, хитро прищурит зеленый глаз, – ну, значит, начнется!.. Я в меру своих сил старалась отвечать ему, а тетя Маруся и мама смеялись и очень любили наши взаимные подразнивания.

Когда мы ехали обратно из Карлсбада, то по дороге остановились в Дрездене и, конечно, пошли в знаменитую картинную галерею. Вошли

Воспоминания М.А. Богуславской об А.И. Сумбатове-Южине

в отдельную комнату, где висела «Сикстинская Мадонна». Люди стояли тихо, смотрели на картину и переговаривались вполголоса. Я стояла рядом с дядей Шурой. «Тебе нравится?» – тихо спросил он. Я шепотом ответила: «По-моему, она хитрая, правда?». Он улыбнулся, но ничего не возразил.

В Берлине перед отъездом в Россию мы все целыми днями бегали по магазинам, скупая нужные и ненужные вещи. Покупки по вечерам приносились на дом, разворачивались и обсуждались совместно. Однажды дяде Шуре принесли большой сверток. Тетя Маруся спросила, что это. Дядя Шура с хитрой улыбкой ответил: «Это прекрасный, удобнейший маленький несессер». И прекрасный несессер был маленьким и удобным... Он предназначался тете Марусе в подарок, но она от него отказалась, и дядя Шура взял его себе. В дороге на границе произошло недоразумение с поездами, и нам не было бы места, если бы не энергия, голос и титул дяди Шуры, которые воздействовали на станционных служителей, и нас втиснули в какой-то скверный вагон всех вровь. Утром я из дверей нашего с мамой купе наблюдала, как дядя Шура, прикусив язык, яростно тащил «маленький удобный» несессер, застрявший в дверях купе и не желавший ни входить в них, ни выходить.

Все эти мелочи кажутся мне не стоящими внимания и заслоняющими его огромный образ, который мне и не под силу описать так, как я его чувствую, но всякая мелочь, касающаяся его, мне так дорога и близка, что я не могу пройти мимо них.

Летом 1916 г. в Покровском я особенно часто имела возможность разговаривать с дядей Шурой во время ежедневных утренних прогулок «для моциона». В тот год он гастролировал в Тифлисе и ему не пришлось полечиться и похудеть на курорте, поэтому он вставал в восемь часов, мы шли гулять на час-полтора и лишь по возвращении пили кофе. Большой частью мы гуляли по аллеям сада, спускались на луг, а иногда и уходили дальше в поле. Сейчас передо мной его карточка, снятая мною на лугу. Летний костюм его был чрезвычайно прост: мягкая рубашка, широкий пояс, светлый картуз, в руках палка с железным наконечником. Во время этих прогулок мы вели самые лучшие, самые задушевные разговоры. Одной из тем было мое будущее: он обязательно хотел, чтобы по окончании гимназии я поехала учиться за границу. Знанию языков он придавал огромное значение. Боялся для меня сцены и всячески внушал мне к ней отвращение. И добился того, что тяготения к сцене у меня никогда не было.



А.И. Южин в последние годы.
С дарственной надписью
М.А. Вербова

В тот год С.В. Гольцева с детьми гостила у нас в Покровском. Верочки Гольцевой хотелось, чтобы дядя Шура посмотрел ее в какой-нибудь роли, так как она мечтала о сцене. Гольцевы с самого раннего моего детства были и остались моими лучшими друзьями, и жили мы с ними всегда очень дружно. Поэтому спектакль надо было ставить без разговоров. Мне досталась роль горничной буквально с двумя-тремя словами. Сомневаюсь, чтобы нужно было иметь какое-либо дарование, чтобы сказать: «Лошади поданы» или «Пожалуйте кушать», однако после спектакля дядя Шура с очевидным удовольствием сказал: «Ну, я очень рад, хотя ты и очень мила, но дарования у тебя нет никакого».

Во время наших утренних прогулок дядя Шура много рассказывал мне о своем детстве, о детских приключениях и проделках с мамой и дядей Володей. Вспоминал, как они с дядей Володей пешком и с борзыми затравливали зайцев, как они играли в охотников, причем они с дядей Володей уходили за добычей, а мама оставалась на хозяйстве и устраивала им уютное жилище. Дядя Шура особенно любил свою мать, которая много дала ему. Она была выдающейся образованной женщиной и сумела вселить в него страстную любовь к классикам,

Воспоминания М.А. Богуславской об А.И. Сумбатове-Южине



Дом 5 по Южинскому переулку, в котором на втором этаже располагается квартира А.И. Южина. 1980-е гг. Ныне дом существенно перестроен, переулку возвращено историческое название: Большой Палашевский

в частности к драмам В. Гюго. Много читала с ним, рассказывала, играла, так как сама была прекрасной пианисткой и даже немного композировала. Дядя Шура не унаследовал от нее музыкального таланта: слух у него был неважный, к музыке, кроме итальянской, был вполне равнодушен. В Покровском мы часто, бывало, играли ему «Травиату», и он подпевал в любимых местах. Исполняли мы с ним вместе песенку Периколы и арию Фра-Диаволо. Выходило если не музыкально, то чувствительно и доставляло нам много удовольствия. О слушателях мы не заботились.

Меня долго не брали в Малый театр смотреть дядю Шуру, так как я была еще мала, и репертуар был неподходящий. Наконец, поставили «Фигаро». Это была первая роль, в которой я его видела. На сцене он был совсем другой, чем в жизни, и одновременно странно свой, знакомый. Более красивый, молодой и стройный, но с характерно приподнятой бровью и знакомой улыбкой. До последнего акта я все-таки чувствовала что-то чужое, монолога я не поняла, и мне стало только немного грустно от ставшего серьезным голоса. Но когда граф (Ленин) дал ему пощечину, я глубоко это переживала и возненавидела Ленина (персонально) на много лет. Долго потом пришлось растолковывать

мне, как дается на сцене пощечина, но и впоследствии, когда я смотрела «Фигаро», я всегда в это время закрывала глаза и уши¹³. «Фигаро» сделал на меня такое сильное впечатление, что мы, дети, решили поставить пьесу по памяти, причем я настояла, чтобы роль Фигаро досталась мне, и получила от дяди Шуры карточку его в этой роли с надписью: «Моему сопернику в роли Фигаро – Муле, в знак уважения к ее таланту от преданного А. Южина».

За несколько дней до объявления войны дядя Шура приехал в Покровское из-за границы. Война всех сделала мрачными, и он так был подавлен, но бодрости духа не терял. С осени начались всевозможные благотворительные концерты, в которых он неизменно принимал участие, без отказа, не жалея сил. И надо сказать, эксплуатировали его сильно. Тогда же осенью начался разговор, что в московских лазаретах не хватает места для раненых. Дядя Шура немедленно, хотя это было для него большим лишением, уступил свой кабинет, где поместили двух раненых офицеров. Кроме того, была выделена еще одна комната для двух выздоравливающих солдат. Это увеличило его расходы, и он отказал себе в громадном удобстве – отпустил нанимаемую им помесячно лошадь. Организация «Артисты Москвы – на табак армии» устроила поездки актеров по домам для сбора пожертвований, дядя Шура не ездил, но у него дома, как и у М.Н. Ермоловой, Е.К. Лешковской, О.О. Садовской и других, продавались карточки в разных ролях, и стояла кружка для сбора пожертвований. Паломничество поклонников и, в частности, поклонниц было большое, тогда же мы познакомились со старинной поклонницей дяди Шуры М.Ф. Трузе, впоследствии ставшей близким другом нашего дома. Каждый год с 1914-го, в Большом театре на первый день Рождества устраивалась в пользу раненых большая елка – утром для детей, вечером для взрослых. В 1916 г. меня решили повезти в Большой театр вечером, мне только что исполнилось четырнадцать лет, но я была уже в пятом классе гимназии и считала себя взрослой. Восторг мой от этого решения был беспределен. Дядя Шура взял для нас первый бенуар, и мы поехали большой компанией. Как раз в это время дядя Володя приехал из Самары, и вышло так, что он поехал с тетей Марусей, мама еще с кем-то, а я с дядей Шурой. Как я была горда! Место, занимаемое мною на извозчике, было чрезвычайно мало, на поворотах я напрягала все усилия, чтобы не выскочить, но мне казалось, что я лечу на крыльях, и мне было прекрасно.

Воспоминания М.А. Богуславской об А.И. Сумбатове-Южине

В театре сперва показывали «живые картины», изображавшие союзные страны, причем дядя Шура изображал Англию: адмирала, смотрящего в бинокль в неизвестные дали, а рядом с ним стояла Балашова¹⁴ – матросик. Потом чередовались другие номера: чтение, балет, пение, по окончании которых в зале были устроены танцы, а в фойе были различные аттракционы: лотереи, кабачки, даже русские горы. По залам я ходила под руку с дядей Шурой и под общий восторг скатилась с ним с русских горок. Само по себе это катанье было неприятно нам обоим, так как оба плохо переносили высоту.

В феврале 1917 г. меня высадили из трамвая, когда я возвращалась из гимназии, солдаты с красными бантиками на груди и винтовками в руках. Дома настроение было приподнятое. Как только образовалось Временное правительство, дядя Шура поехал в Петроград выяснить положение Малого театра и его дальнейшую судьбу.

Вернулся он через несколько дней, простояв в вагоне на сквозняке всю ночь, простуженный, абсолютно без голоса. Он был назначен комиссаром Большого и Малого театров, ставших государственными. Помощниками его были: по Малому театру О.А. Правдин, по Большому Л.В. Собинов. Дядя Шура устроил у себя на дому общее собрание артистов Малого театра. Обсуждали, какую пьесу поставить для открытия государственного Малого театра. Решено было поставить «Декабриста» Гнедича, уже бывшего в репертуаре того года, а в конце поставить апофеоз. Но были и возражающие: хорошо помню негодование одной артистки¹⁵, которая громко кричала: «Мы не смеем этого делать, вы знаете, что с нами сделают, если вернется старое правительство, а мы, артисты императорских театров, разыгрываем из себя революционеров». Все же «Декабрист» поставлен был. После апофеоза дядя Шура, а после него члены МСРКиКД¹⁶ говорили речи. Голос его звучал вполне хорошо, и я порадовалась, что простуда его так быстро прошла, но когда мы вернулись домой, то первая сказанная им фраза убедила меня, что простуда стала еще хуже, и без голоса он по-прежнему – это был только нервный подъем. Занят он тогда был сверх человеческих сил. Особенно тяготен ему был Большой театр, от управления которым он вскоре отказался.

Лето семнадцатого года было последним, которое мы провели в Покровском. Мы жили совершенно спокойно, если не считать нескольких случаев отказов крестьян от поденщины. Однажды дядя Шура внезапно захотел принять ванну, но было уже поздно, и некому было напилить дрова. Мама сказала с досадой: «Ну что, Шура, так поздно



Кабинет А.И. Южина в Мемориальной квартире-музее.
Большой Палашевский, 5. Наши дни

говоришь, теперь и дров готовых нету». Он промолчал, но на следующий день, перед вечером, сидим мы на балконе, вдруг видим: у флигеля показывается дядя Шура, возвращающийся с прогулки «к лесу», и тащит за собой огромную корягу. Подошел к самому балкону и с хитрым видом спрашивает: «Катя, а сегодня я заслужил ванну или нет?». В августе он уехал в Москву. Мы пробыли в Покровском еще недели три и присоединились к нему как раз тридцатого августа, день его именин и открытия Малого театра. На этот раз в этот день он праздновал свой тридцатипятилетний юбилей службы в Малом театре и впервые играл Фамусова. Волновался страшно, таким беспокойным я его никогда не видела. С утра был нервен, лежа в постели прочитывал роль и почти не обедая уехал в театр. Каждый спектакль «Горе от ума» был для него новым достижением, роль захватывала его все больше и больше, и облик Фамусова принимал все более законченные формы. И мимика, и интонации менялись, и неизменно, каждый раз, когда я в одном из антрактов заходила к нему в уборную, он спрашивал: «Ну как сегодня?». Однажды, уже много лет спустя, я приехала в театр вместе с ним и сидела у него, пока он гримировался. Для роли Фамусова он всегда подтягивал нос кусочком розового пластиря, и на этот раз он долго заставлял меня смотреть со всех сторон, как у него подтянут нос,

Воспоминания М.А. Богуславской об А.И. Сумбатове-Южине

и не нужно ли подтянуть его еще больше. В четвертом акте со словами Чацкого «Ну вот и день прошел...» я действительно чувствовала, что день кончился, сейчас кончится спектакль, дядя Шура разгримируется, и поедем домой пить чай и разговаривать. Из разговоров дяди Шуры я учились тому, как надо жить, воспринимала его жизненную мудрость, старалась запомнить его мысли, взгляды, по возможности подражать ему. Это плохо мне удавалось, так как окружающая действительность слишком разнилась с его принципами, взглядами, и лавировать мне становилось все труднее и труднее.

Его часто заботила моя будущая жизнь. Как-то он с тревогой говорил со мной про это. «Я не обещаю тебе быть достойной, но я постараюсь быть приличной», – ответила я словами Ричарда Кромвеля.

В конце октября 1917 г. в Малом театре поставили «Саломею» Оскара Уайльда. Меня на этот спектакль не взяли, и я рано легла спать. Наутро мы проснулись от громовых ударов, оказавшихся выстрелами. Это был Октябрьский переворот. Когда наши возвращались со спектакля накануне, уже было беспокойно. Выходить на улицу в течение нескольких дней было нельзя, телефон не работал, мы томились от бездействия. Решено было начать разборку огромного архива дяди Шуры. В столовую была внесена корзина, доверху наполненная письмами, и мы принялись за дело. Так интересно было читать разбираемое, и тетя Маруся попутно рассказывала так много, что дело шло медленно, и после четырех дней работы корзина имела все еще совершенно нетронутый вид. Единственным нашим гостем в те дни был Остужев, который отважно перебегал к нам улицу и информировал нас о внешних событиях. На седьмой день выстрелы стихли. Телефон еще не работал, но на улицах стало спокойнее. Пришли сведения, что в Малом театре расположился штаб рабочей дружины. Дядя Шура немедленно туда решил идти. Отговаривать его мы не решались, но страшно было думать, что пока сидим дома в безопасности, его может убить шальная пуля или он может быть арестован. Как сейчас помню, с каким волнением следили мы из окна его кабинета за широкоплечей фигурой, скоро скрывшейся за поворотом переулка. Непривычно ему было ходить пешком, тяжело и трудно, хоть и шел он не в ильковой шубе, а в пальто, но пальто это было целиком на котике, с большим воротником и тоже тяжелое.

Помню, как он потом рассказывал, что по дороге в театр он зашел в «Метрополь» за О.А. Правдиным и пригласил его пойти с ним, думая, что лучше будет, если его помощник будет вместе с ним. Что представ-

лял собою в те дни Малый театр, можно видеть по сохранившимся фотографиям. Все было поставлено вверх дном, костюмерные разграблены, особенно пострадала обувь, так как в те годы в сапогах была большая нехватка. Все бумаги вынуты из столов и разодраны на мельчайшие куски, у бюста В. Гюго¹⁷, стоявшего в уборной дяди Шуры, снесена голова. Воздух был пропитан махорочным дымом, на бархатных диванах спали красногвардейцы. Грязь была невероятная. Дядя Шура отыскал начальника части и просил освободить здание или предъявить ему мандат на занятие помещения. На это начальник красногвардейской части предложил ему немедленно оставить здание театра, и когда дядя Шура отказался, то вызвал красногвардейца и велел ему препроводить и дядю Шуру, и О.А. Правдина в Московский Совет, как арестованных. Правдин, жалуясь на старость и плохое здоровье, просил его освободить, и был отпущен, и дядя Шура последовал в Совет один с красногвардейцем. Правда, там его не задержали и, выяснив его личность, отпустили домой, но с того времени, как он ушел из дома, прошло довольно долго, и мы уже начали волноваться его отсутствием. Пришел он удрученный виденным и сильно обеспокоенным дальнейшей судьбой театра. Долго потом ночами сидел он за письменным столом, вырабатывая положение об автономии театров, долго добивался ее признания и, наконец, был относительно удовлетворен полученными результатами. Несмотря на то, что он был очень занят, мы все видели его довольно много, хотя и всегда озабоченного и занятого. Кроме того что он по целым суткам просиживал в театре, он еще постоянно ездил играть на окраинные фабрики и заводы и в красногвардейские части за пайки, так как получаемых денег не хватало, и все труднее и труднее становилось что-нибудь за них купить. Артисты уезжали в трамвае, подаваемом к Малому театру, и возвращались часа в два-три ночи, нагруженные пайками. Эти пайки состояли из пуда черного хлеба, небольшого количества постного масла, сахара, соли и селедок. Ташить ему одному все это было трудно, поэтому к нему навстречу, на Страстную площадь, всегда кто-нибудь выходил. Помню, как-то раз пошли мы на площадь, тетя Маруся, я и Ольга Клементьевна, кажется, площадь была уже совершенно пуста; долго сидели мы на лавочке у трамвайной станции, пока одинокий милиционер, давно уже к нам присматривавшийся, не стал нас убеждать идти домой. Когда, наконец, подошел трамвай, оказалось, что задержка произошла оттого, что вагон испортился в дороге, и вожатый долго не мог с ним справиться, пока ему не пришел на помощь Остужев.

Воспоминания М.А. Богуславской об А.И. Сумбатове-Южине

Театр стал доступен рабочему зрителю. Билеты более не продавались, а распространялись. Новая публика в шубах и валенках (так как театры в те годы не отапливались) принимала хорошо, слушала внимательно, хотя реагировала и не на все. Часто слышала я от дяди Шуры, что ему приятнее играть для этой полуголодной, жадной до впечатлений публики, чем для прежних богатых москвичей, приезжавших всегда с опозданием и не стеснявшихся уходить и шуметь во время действия.

Сплошь и рядом он не имел возможности в один и тот же день, играя, репетируя, заседая на многочисленных заседаниях в театре, Актео¹⁸, Наркомпросе и т.д., забежать домой пообедать. Тогда мы посылали ему обед в театр, в маленьком черном чемоданчике. Когда я бывала свободна, я всегда ходила туда к нему с Машей, мы разогревали обед на полуходлом отоплении или на электрической печке. Обед его был не сложен: суп из конины и каши или просто зажаренный кусок той же конины. Он быстро съедал его, торопясь заснуть на своей кушетке в уборной хоть на час перед спектаклем. А спектакли были тяжелые: «Ричард III», «Посадник», «Горе от ума», «Шейлок».

Помню, как репетировали «Посадника», которого тогда ставил Саннин. Дядя Шура уставал, но был доволен работой, так как весь спектакль и особенно массовые сцены были поставлены прекрасно. Последняя сцена, которую мне иногда удавалось посмотреть из уголка ложи, всегда пугала меня, так как толпа то заступалась за посадника, то возмущаясь, будто двигалась по сцене, угрожала ежеминутно сбросить дядю Шуру со ступенек. Позднее я вошла в соглашение с моими друзьями, бывшими тогда в толпе, и они обещали мне тогда охранять дядю Шуру от толчков и ударов входившей в азарт молодежи.

Иногда мне удавалось во время обеда поговорить с ним один на один о волнующих меня вопросах, которые он умел поразительно легко и быстро разрешить. А иногда он увлекательно рассказывал о проведенной репетиции, с таким ему свойственным юмором, никогда его не оставлявшим, подмечал смешные стороны многих, что жаль было уходить от него, приготовив несложную постель на диване. Но чаще в этот короткий перерыв к нему заходили товарищи по управлению и актеры, с которыми он помногу и подолгу беседовал. Приемных часов у него не было, каждый шел к нему, когда хотел, и отнимал столько времени, сколько ему было нужно. Как выдерживал дядя Шура ту громадную умственную нагрузку в то тяжелое время, голодное и холодное,



М.А. Богуславская и Т.Г. Якоб. Клязьма. 1935

и никогда не терял бодрости духа, – я не знаю. Самое примечательное в его характере было то, что он всегда и для каждого умел найти ласковое утешительное слово, не раздражался на отсутствие тепла и света (электричества у нас в те годы в квартире тоже не было), только мучился постоянным кашлем и насморком и, скимая челюсти, покачивал головой: «Как можно довести страну до такого состояния?». Носил он в те годы валенки, черную венгерку, под ней связанную тетей Марусей белую фуфайку из грубой шерсти. На голову дома надевал черную шелковую шапочку, так как температура даже в его спальне не поднималась выше восьми градусов, а в остальных комнатах доходила до четырех. Кабинет и гостиная на зиму запирались.

Я старалась каждый спектакль с его участием непременно быть в театре, особенно когда я знала, что Остужев не занят в пьесе. (Алексенич¹⁹, живя с нами рядом, всегда провожал дядю Шуру, кроме тех спектаклей, когда была занята вместе с ними и Верочка Шухмина, покупавшая его проводы за горячие пирожки.) Если я знала, что дядя Шура возвращается один, мне представлялись разные ужасы: или он упал, поскользнувшись, и лежит где-нибудь в сугробах и не может подняться, или его забрал ночной патруль, или «прыгунчики» напали. Как же мы бежали, когда слышался его стук громкий в дверь.

Воспоминания М.А. Богуславской об А.И. Сумбатове-Южине

Когда возвращались из театра вместе с Остужевым, дядя Шура не любил и не умел ходить под руку. Поэтому он шел отдельно, а мы с Алексеничем вместе. Бывало, что зимой он поскользнется и упадет, но быстро встанет, или осенью громко вступит в черную лужу, приняв за углубление в тротуаре и неизменно не желая сознаваться в этом, громко крикнет Остужеву: «Шурка, куда ты попал, обрызгал всех», и Алексенич неизменно отвечал: «Виноват, Александр Иванович, больше не буду».

Кроме той колossalной работы, которую он нес по театру, он еще писал в 1919 г. свою статью о Грузии «В мощных объятиях», которую мы переписывали вместе с Журочкой Сумбатовой, частью от руки, частью на машинке. Писал он преимущественно ночью, усталый, замерзающими пальцами... Не знаю, как в такой, поистине тяжелой обстановке, родились у него блестящие отточенные мысли: вместо сжатой статьи, как он предлагал сначала, он написал книгу в 200 страниц.

Первое время он мужественно обедал с нами вместе в столовой, сменяя шелковую шапочку на котиковую и укрывая ноги пледом, но потом мы стали подавать ему обед в спальню. Как я говорила, питание в то время было ниже среднего. Дяде Шуре стремились давать хоть и немного мяса, единственным видом которого была конина, против употребления которой он почему-то страшно восставал. Когда ему приносили горячий кусок мяса, он насмешливо приподнимал правую бровь и спрашивал маму:

— Катя, скажи мне честно, это конина?

— Шура, клянусь тебе...

— Святая ложь, — говорил он, но обед все же съедал. Он был редкостно чуток и мягок, всегда безмерно занятый, как-то интуитивно чувствовал всякое чужое переживание и умел облегчить и украсить жизнь окружающим.

«Люби жизнь и умей пользоваться ее радостями», — говорил дядя Шура, и никто, как он, не умел претворять эти слова в действительность. Всегда бодрый и полный мужества, сильный и сдержанный, он никогда не давал чувствовать окружающим ни дурного настроения, ни неудовлетворения, присущих каждому человеку. Наши более чем скромные обеды в холодной столовой в первые годы революции, когда к столу садились в шубах и валенках, усталые и мрачные, мгновенно оживлялись в его присутствии. Он всегда умел рассказать что-нибудь интересное, вызвать на разговор других, придать повседневным про-

исшествиям юмористический характер, заинтересовать и отвлечь от грустных мыслей.

Я очень любила Покровское и первые два лета в Москве я скучала, вспоминая деревню. Именно с тех пор, пожалуй, я почувствовала себя особенно близкой дяде Шуре, который всегда готов был поддержать меня и внушал мне готовность к борьбе с жизнью и ее неудачами. Сильная его постоянной поддержкой и вниманием, я стала спокойнее относиться к неудачам, перестала жить воспоминаниями о «хорошей» жизни и нашла интерес в настоящем.

Жизнь была ему неизмеримо тяжела, в борьбе, неудачах, оскорблении самолюбии выковал он свою волю, свой характер, свое «я». И вышел закаленным, наружно несколько холодным, осторожным с людьми, но с неизмеримой жаждой к жизни, неослабным интересом ко всем ее проявлениям, любовью и интересом ко всем жизненным мелочам до последней минуты своего существования. Между нами была разница во много лет, но никому из своих сверстников я не могла бы так просто рассказать всех своих мыслей, уверенная, что ему, большому, сложному, будет нескучно разбираться в сомнениях, колебаниях, иногда даже «романтических» настроениях самой заурядной девчонки.

Вообще, молодежи было легко с ним, прежде всего потому, что я никогда не слышала от него столь обычной для людей пожилых фразы «в наше время». Всякое настоящее время, поскольку он жил в нем, было его временем, он умел его как-то отлить в свои формы, нисколько не умаляя и не искажая его движения.

Я всегда удивлялась, как у него для всего хватает времени. Постоянно занятый самыми разнообразными театральными, литературными и общественными делами, он, всегда приветливый и бодрый, был чрезвычайно доступен. У него хватало времени и для разговоров с артистами в театре, которые часто заходили к нему в уборную, не считаясь ни с какими часами отдыха, со всеми домашними, даже для моих приятелей и приятельниц, которых у меня было очень много, у него всегда находилось живое участие и вопросы именно о том, что их интересовало. Правда, всякий вопрос, как бы маловажен он ни был, он умел облечь в необыкновенно интересную форму. Жизнь он любил по-настоящему, во всех ее проявлениях, любил страстно и болезненно до последнего дня своей жизни. Будучи уже совершенно больным, незадолго до последней своей поездки за границу, он говорил мне: «Ах, если бы мне еще десять лет жизни, сколько бы я успел сделать, сколько у меня мыслей для

Воспоминания М.А. Богуславской об А.И. Сумбатове-Южине

большого, настоящего романа, который я мечтаю написать уже много лет». Дядя Шура любил меня и переоценивал мои качества, поэтому страшно волновался, предупреждая меня: «*Будь всегда самостоятельная, люби и живи полной жизнью*, – говорил он, – но мне будет обидно, если такой хороший и интересный человек, как ты, станет игрушкой в каких бы то ни было, даже хороших руках».

Первые годы революции были для него полны многих испытаний, тем не менее, всегда уверенный в себе, гордый и непоколебимый, он сумел поставить себя на должную высоту, и авторитет его, и прежде огромный, возрос еще больше. Соответственно возрос и объем работы, он бывал дома на короткие сроки, много писал и утомлялся, сильно похудел; непривычная ходьба, плохое питание, постоянные волнения потихоньку подтачивали его силы. Но настоящая болезнь была еще далеко.

В 1919 г. на заседании ТЕО Наркомпроса у него украли шубу, и несколько дней он, не имея возможности ходить пешком в большой шубе, носил драповое пальто, поверх которого надевал воротник тети Маруси из американской лисицы. Потом ему выдали по ордеру доху, прозванную им же «жеребячей шкурой», которая ползла по всем швам при каждом его движении. Сколько острот и смешных жалоб было по этому поводу! Наконец, доха расползлась окончательно, и ему выдали другую шубу, в которой он проходил все остальные годы.

Дядя Шура не владел языками, кроме французского, и всячески внушал мне, какую огромную радость дает в жизни их знание. В то время я уже училась по-английски и много читала. Часто читала Шекспира, преимущественно в кабинете дяди Шуры, пока он работал, зная, что доставляю ему этим удовольствие. И часто он, подняв на меня глаза, спрашивал, что я читаю, и узнав, просил прочесть вслух по-английски знакомый ему по-русски отрывок. «Мне хочется знать, как это звучит в подлиннике, – говорил он и, послушав, качал головой: – Нет, по-русски звучит лучше». И начинал уже сам читать любимые монологи.

Меня огорчало, что дядя Шура не хотел понять и не любил любимых авторов моей юности – А. Белого и особенно Ал. Блока. Несколько раз я старалась подсунуть ему их произведения; преодолевая робость и стараясь лавировать между прежним и современным стилем чтения стихов, сама декламировала ему мои любимые стихотворения. Но напрасно. «Не могу понять, что он хочет сказать? Все это надуманно, непросто, не от сердца. Прочти для контраста Пушкина и сразу увидишь, как это



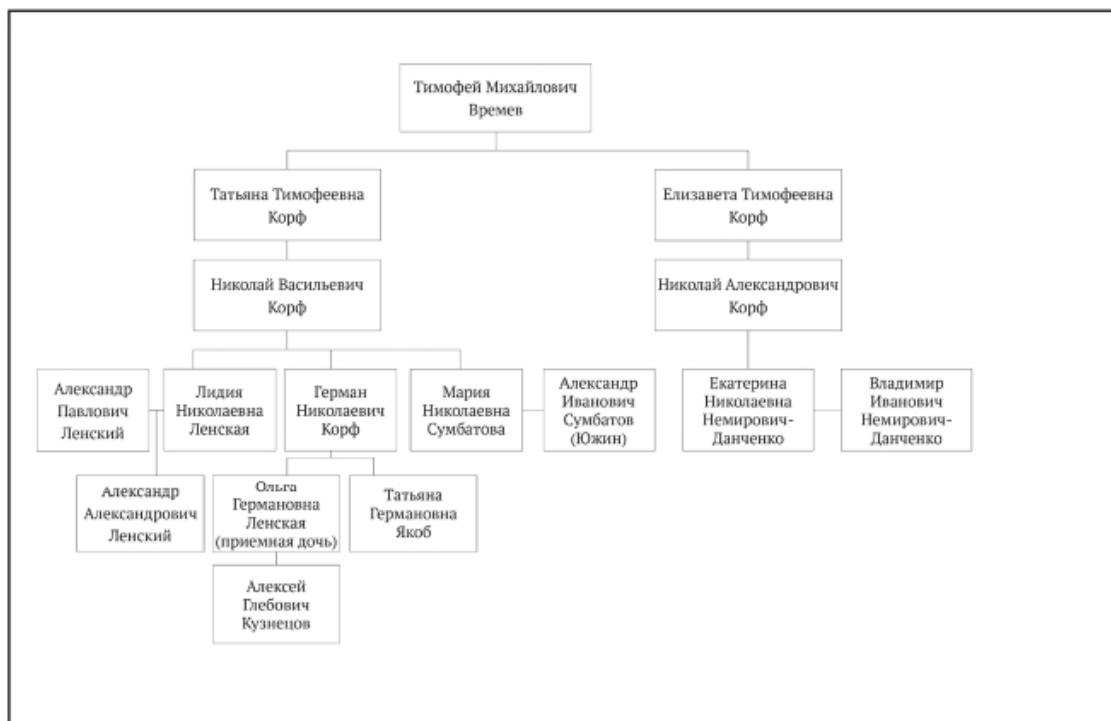
Ф.А. Лавдовский. Эскизы костюмов Ивана Грозного и Спальника к «Василисе Мелентьевой» А.Н. Островского и С.А. Гедеонова с автографом А.И. Южина. 1914

тяжело, по сравнению с подлинной легкостью талантливого простого стиха». Этим заканчивались наши диспуты о символистах.

Кто из нас не писал стихов в семнадцать лет? Писала и я. Как-то перед обедом, сидя у себя, я вымучила какую-то очередную бездарщину. Вошел дядя Шура: «Мулька, пойдем обедать. Что это ты пишешь?» – наклонился он над столом. Мне хотелось спрятать тетрадку (стихи были лирического порядка), но я от него ничего не скрывала. Он стал читать их вслух без интонаций, ровно, как будто немного удивленно. Потом положил обратно, не сказав ни слова. Я и спрашивать не стала, но лирические опыты с того дня были прекращены бесповоротно.

Мы много говорили о религии. Дядя Шура был по-настоящему верующим, без всякого ханжества, он боялся во мне неверия, и я рада была, что у меня его не было. Никак не могу постичь, отчего я, так много получая от наших бесед с ним, несомненно, вырастая и развиваясь после каждой из них, – так плохо текстуально запомнила его выражения, что не могу сейчас передать их. Но мысли его я воспринимала не только разумом, но всем сердцем, всей сущностью. Мне кажется, что каждый, говоря с ним, попадал как бы в фокус его напряженной мысли, находился все время в состоянии какой-то умственной гимнастики,

Воспоминания М.А. Богуславской об А.И. Сумбатове-Южине



Фрагмент генеалогического древа семейства Корф

так как воспринимать его мысли можно было, только одновременно прорабатывая их, и таким образом его взгляды становились как бы частью собственного мышления.

Дядя Шура, несомненно, был несколько суеверен, как, впрочем, все актеры. Помню, я как-то уронила при нем зеркало из записной книги и разбила его. Он быстро выхватил у меня из рук и выбросил книжку в окно. Я протестовала – там были адреса и телефоны. «Все равно – разбитого зеркала нельзя держать ни минуты», – серьезно ответил он. Накануне его смерти – я разбила большое зеркало.

Бывало так, что я просто задыхалась от счастья жить рядом с ним, постоянно иметь возможность разрешать все возникающие сомнения, одолевающие всякого в возрасте от пятнадцати до двадцати двух лет. Он никогда не приукрашивал отрицательных сторон жизни, наоборот, выдвигал их на первый план, но рядом с ними рисовал такие увлекательные картины борьбы, достижений и радости победы, что дух захватывало, и сколько было сил, сколько воли, какая жажда жизни!

Насколько я помню, дядя Шура никогда не ставил деньги целью, но как средством оперировал ими идеально. Он крупно играл в карты и в рулетку. Сильно проигрывал, но никогда это не отражалось ни на его

настроении, ни на бюджете дома, ни на помощи окружающим, а таких было много.

Его необыкновенная жизнерадостность сообщалась всем окружающим. Бывало, некуда девать себя, дома никого нет, приставать не к кому. Войдешь к нему, он работает, поднимет глаза, спросит:

— Ты что?

— Ничего, можно с тобой посидеть?

— Конечно.

Возьмешь книгу, почитаешь, захлопнешь, завозишься.

— Что, тебе некуда себя девать?

— Скучно.

— Скучно? — переспросит он с удивлением и даже легким презрением, как будто не понимая этого слова. — Может быть грустно, тяжело, тоскливо даже, только не скучно, потому что, прежде всего, скучать некогда, так мало ты еще знаешь, так много нужно узнать и сделать в жизни, и так все интересно.

— Ну а мне все-таки скучно.

— Ну тогда призови своих воздухоров²⁰, а мне не мешай, — скажет он уже с некоторым раздражением против моего упорного непонимания. И я обижусь, уйду, но скука все-таки пройдет.

Осенью 1922 г. исполнился сорокалетний юбилей его артистической деятельности. Тридцатого августа²¹, в день его именин и традиционного открытия сезона в Малом театре, все артисты, служащие и рабочие театра пришли к нему на дом поздравить его. Мы были предупреждены об этом и готовились к встрече, закупая всевозможную провизию (помню, когда нужны были фрукты, мы закупили у разносчиков просто несколько лотков). На кухне свирепствовал и крал вовсю наемный повар. Настало 12 сентября н/ст. Мы приготовили столы в гостиной, кабинете, столовой и кабинете тети Маруси. С утра начали приходить поздравители. Догадавшись, что наша квартира не в состоянии вместить всех сразу, подходили постепенно, сперва рабочие, потом уже служащие и актеры. Дядя Шура без устали пожимал руки и целовался. Лицо у него было взволнованное и растроганное. Понемногу все разошлись: надо было отдохнуть к вечеру, к спектаклю. Вечером шло «Горе от ума», и после спектакля был организован творческий ужин и чествование. Спектакль прошел радостно и с большим подъемом. После спектакля нас также пригласили остаться на ужин. В фойе были накрыты столы, и за ужином непрестанно произносили речи,

Воспоминания М.А. Богуславской об А.И. Сумбатове-Южине

и торжественные, и шутливые, дядя Шура отвечал, был необыкновенно в духе все время. Общее настроение было радостным и непринужденным. После ужина тетя Маруся с мамой уехали, оставив меня на попечение П.М. Садовского, который обещал доставить меня домой. Большой компанией сидели мы у него в уборной, слушая, как он пел, вернее фразировал старинные цыганские романсы, вдруг открылась дверь и вошел дядя Шура, не помню с кем. «Мулька, ты что тут делаешь? Я думал, ты уж давно спишь». Но сел с нами, принял участие в разговоре и стал вспоминать с Провом Михайловичем шутливые экспромты его покойного отца. Так он был все время оживлен и весел, что выглядел совсем молодым.

А восемнадцатого сентября в Большом театре праздновался его юбилей официально – он ставил «Отелло». Утром было торжественное заседание в Малом театре, посвященное юбилею. От волнения и радостного счастья я ничего не помню, что говорилось, с трудом припоминаю даже, кто именно выступал с речами. Чествование в Большом театре, верно, помнят все, и я не буду на нем останавливаться. Как он устал в этот день (чествование кончилось только в третьем часу утра) и все-таки поехал на ужин в кружок²². А на другой день было еще интереснее, мы сидели, перебирая впечатления, разбирали и раскладывали на столах поднесенные адреса и подарки. Эта осень была самой светлой за все годы.

Но скоро, получив возможность благодаря юбилейным деньгам поехать хоть немного отдохнуть и полечиться, дядя Шура взял отпуск и поехал сначала в Кисловодск, потом в Тифлис, откуда собирался морем поехать за границу. Но судьба судила иначе, из Тифлиса его срочно вызвали в Москву в связи с назначением нового члена дирекции Малого театра Скороходова. 1 февраля 1923 г. он вернулся в Москву. Поезд его прибывал утром в одиннадцать часов, но запоздал, так что все встречавшие несколько раз приезжали на вокзал и уезжали обратно. В результате поезд пришел только в три часа ночи, и встречали дядю Шуру только тетя Маруся, С.А. Головин, И.С. Платон и я. Он приехал очень посвежевшим и бодрым. Совершенно спокойно, чуть юмористически рассказывал он о крушении их поезда, которое и вызвало опоздание. В дороге он вообще отлично спал, и тут он даже не почувствовал толчка, только когда проснулся, никак не мог понять, отчего дверь уже не перпендикулярна полу, а горизонтальна. Оказалось, что поезд всего-навсего перевернулся набок.

В эту же зиму дядя Шура был назначен единоличным директором Малого театра, нужно было переделывать статут, работы было очень много. Из Тифлиса привез он самые лучшие воспоминания и впечатления: принимали его там прекрасно и, по рассказам наших родных, у которых он останавливался, настолько радушно, что редко возвращался он после спектакля раньше пяти-шести, а иногда и семи-восьми часов утра. Случалось, что не возвращался совсем, а непосредственно ехал с затянувшегося ужина на репетицию. Возвращаясь домой утром, он ни разу не лег, не написав предварительно писем, хотя на сон ему оставалось очень небольшое количество часов. В Тифлисе он пристрастился к игре «нарды», которую привез с собою в Москву. Быстро выучил ей дядю Володю, Колю Корфа, жившего тогда с нами, и меня. Первое время он играл лучше нас всех и страшно издевался над побежденными. Но когда мы тоже выучились и, случалось, счастье было не на его стороне, он глубоко возмущался и уже не дразнил нас. Когда я безжалостно его обыгрывала, он говорил: «Мне нравится, что в тебе есть настоящий азарт игрока. Ты в игре никогда не жалеешь. Вот тебя бы я взял в Монте-Карло». Очень желательно в этой игре запереть друг друга, тогда это называется сделать «марс». И когда я его обыгрывала, я всегда дразнила его, спрашивая, не видал ли он тут марсиан, больших, толстых, с горбатыми носами и мяненькими волосами... Он негодовал и мстил, и когда я была «марсианкой», говорил: «Что, щучий нос, какие бывают марсиане? По-моему, они дерзкие, непочтительные, горбатые...» (Моя сутулость всегда его мучила.) Все лето 1923 г. вырабатывал он новый статут, просиживал над ним ночи напролет. Раз, кончая писать, он встал из-за стола, и у него хлынула горлом густая струя крови. Мы очень испугались, но на этот раз все сошло благополучно. Одновременно тем летом он играл в Зоологическом саду «Старый закал», «Измену», «Стакан воды».

Условия жизни стали немного легче; для поездок в театр Наркомпрос предоставил ему машину, которую, правда, не всегда можно было вызвать, но все-таки это было облегчение. Халтуры в районах заменили концерты в центре, также утомительные, но не отнимавшие столько времени. Непосредственной работы по театру, волнующей и нервной, не убавлялось.

В тот год мама и тетя Маруся жили на даче в Зюзине, и я осталась на хозяйстве. Хозяйничала я плохо, но дядя Шура был так нетребователен, что удовлетворялся моими попытками.

Воспоминания М.А. Богуславской об А.И. Сумбатове-Южине

Помню один эпизод того лета: я была в гостях, засиделась и вернулась домой в три часа ночи. Маша, открывшая мне дверь, сказала: «Александр Иваныч тоже не спят, работают в кабинете». Я тихо вошла в неосвещенную гостиную, не снимая темного пальто, и остановилась в дверях кабинета. Кабинет был ярко освещен. (Дядя Шура не любил работать в темноте и зажигал все лампы.) Он сидел за письменным столом в белом летнем халате и, чуть прикусив кончик языка, сосредоточенно писал. Я зашуршила, кашлянула басом. Он приподнял голову, посмотрел в темноту поверх золотых очков, окликнул: «Кто там?». Я не ответила. Тогда он встал с кресла, взял что-то со стола в правую руку и, спрятив ее за спину, пошел к двери. Я рассмеялась и быстро вышла на свет. «Ну, счастье твое, жулик, что ты рассмеялась, ведь я-то думал, что тут жулик настоящий, и чуть не разбил тебе темечка». И показывает зажатого в руке тяжелого бронзового льва, которого он взял со стола. Долго мы смеялись, вспоминая это приключение.

Нам очень хотелось вытянуть его пожить в Зюзине, чтобы он отдохнул хоть немного, но он только раз съездил туда на автомобиле, и то на очень короткий срок.

Вообще, дядя Шура был смешлив и умел смешить окружающих. К его юбилею Малый театр заказал его портрет художнику Вербову, который и после окончания сеансов бывал у нас, когда собирались молодежь. Однажды сидели мы в гостиной: дядя Шура, мама, дядя Володя и дядя Сережа²³ играли в винт. Мы с Колей Корфом были тут же, но я собиралась куда-то уходить. Вдруг зазвонил телефон. Я с ужасом вспомнила, что я обещала Вербову быть дома, и предполагала, что это звонит именно он. Так и было, но мама решила меня выручить, подошла к телефону и довольно долго и подробно рассказывала ему, почему я не могла остаться дома, куда я ушла и т.д. Дядя Шура терпеливо слушал, наконец, когда терпение его истощилось, он вполголоса сказал: «Катя, раз ты так подробно все ему рассказываешь, отчего ты не сообщишь ему, что я вчера ревень принял?». Это изречение вызвало общий восторг.

Весной 1923 г. дядя Шура был очень счастлив приездом А.Ф. Кони, которого очень уважал и ценил, и настоял на том, чтобы Анатолий Федорович остановился у него. Беседы их были чрезвычайно интересны, и часами можно было слушать их.

Летом 1927 г., когда я была в Ленинграде у Анатолия Федоровича, уже совсем больного, он так изумительно говорил о дяде Шуре, что я сожалела о невозможности записать его слова.

Зима 1923–1924 гг. прошла без особых перемен, дядя Шура уже начинал готовиться к проведению столетнего юбилея Малого театра, много работал по этому вопросу. Весной же его привезли из театра после первого приступа грудной жабы. Мы еще тогда не знали, что это за болезнь, и предполагали, что это просто сердечная слабость, явившаяся результатом переутомления. Он тогда очень чем-то развлеченный и, как сам потом рассказывал, почувствовал, точно железный обруч стянулся у него в груди, и задохнулся. Он побледнел, его быстро уложили на диван. Дома врачи велели ему продолжать лежать, прописали принимать нитроглицерин, если подобные ощущения повторятся, обязали летом ехать в Кисловодск, отдохнуть и попринимать нарзанные ванны. В конце июня он собрался ехать, и я поехала вместе с ним, но жили мы, хотя в том же самом Гранд-ОТЕЛЕ, но в разных этажах. Чувствовал он себя в общем довольно бодро, но избегал много ходить. Днем принимал ванны, совершил обязательную прогулку, потом много работал у себя в комнате, писал пьесу «Рафаэль», отрывки из которой иногда читал мне. Ложился рано, хотя почти каждый день мы играли в «дурачка» с Хрущевыми и еще с кем-нибудь, кого мы залучали, как говорил дядя Шура, «для ощипки».

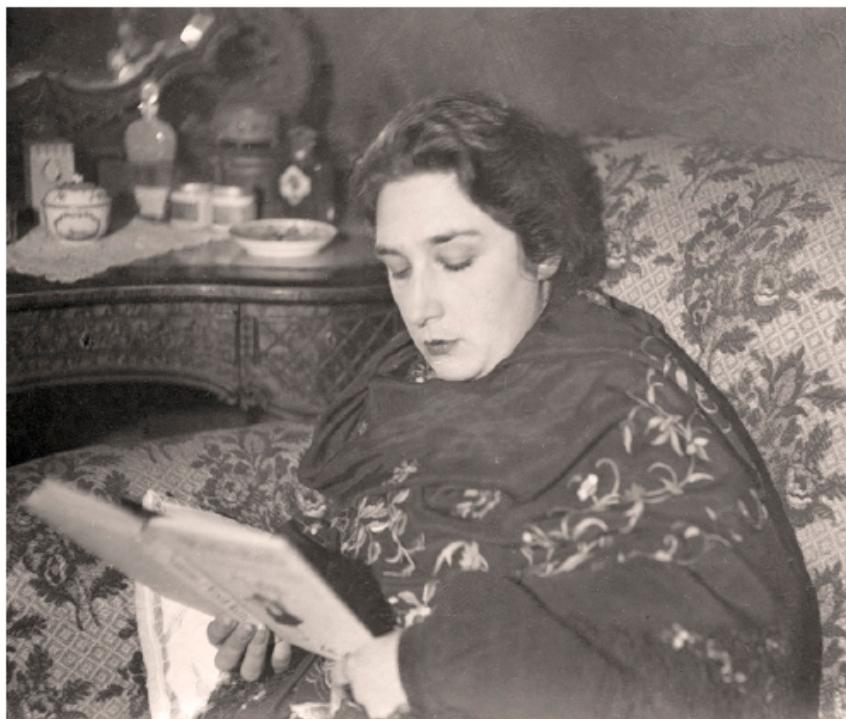
Однажды утром, когда я по обыкновению зашла к нему, он выглядел бледнее и сосредоточеннее обычного. «Знаешь, – сказал он мне, – меня опять сегодня ночью душило, и боль в груди была довольно сильная, но я встал, вышел на балкон и просидел на этом чудном воздухе часа два, мне стало легче. Вероятно, я съел что-нибудь тяжелое, и желудок давил на сердце». Я взволновалась и написала об этом домой. Очень скоро пришло от тети Маруси встревоженное письмо. Когда дядя Шура прочел его, он страшно на меня рассердился. «Я теперь ни слова не скажу тебе, доносчица, стоило ли волновать тетю Марусю из-за того, что я чего-то перееел». Но это было не желудочное заболевание, а начало той самой страшной болезни, которой он впоследствии так мучился. Из Кисловодска по его настоянию я уехала в Тифлис. Он подробно со мной обсуждал эту поездку и составил мне собственноручно маршрут, чрезвычайно точный, который до сих пор у меня сохранился. После моего отъезда к нему скоро приехала тетя Маруся. Обратный путь из Тифлиса в Москву я в первый раз в жизни совершила одна. Чувствовала себя неуверенно и одиноко. Четвертого августа, в день именин тети Маруси и моих, я проезжала Минеральные Воды, грустно смотря на знакомые горы, и думала о том, как глупо, что я так близко от Кисловодска и должна ехать дальше, не повидав дядю Шуру и тетю Марусю.

Воспоминания М.А. Богуславской об А.И. Сумбатове-Южине

В это время поезд подошел к станции, и я вижу: на перроне стоят они оба и смотрят в окна вагонов, ищут меня. Оказалось, что они специально приехали на Минеральные для того, чтобы в течение двадцатиминутной остановки моего поезда побывать со мной. (Это была инициатива тети Маруси.) Ужасно я была счастлива и только много позже узнала, что поездка очень его утомила, так как поезда не корреспондировали, и они попали домой совсем поздно вечером. После Минеральных ко мне резко изменилось отношение всего вагона: из безразличного стало чересчур внимательным. Началось пalomничество ко мне в купе и расспросы: «Это был Южин? А кто с ним, его жена? А вы кто, южинская дочка? Вы на него похожи». Последним я была очень польщена, так как мне всегда хотелось походить на него.

Кисловодская поправка быстро испарилась от множества хлопот и заседаний по проведению столетия Малого театра. Не мне говорить о той колossalной работе, которую он проделал за то время, но мы, его близкие, хорошо знаем о том, как он утомлялся, нервничал, страдал оттого, что не отпускали ссуды на ремонт, что не ладились некоторые детали. Все это время он был нервен, напряжен, иногда раздражителен, даже сумрачен. Наступили юбилейные дни, но и они проходили беспокойно и нервно. Наконец, все было уже позади, оставался только один последний торжественный вечер в Художественном театре. Во время ужина в фoyerе я сидела далеко от дяди Шуры, но издали заметила, что он что-то глотнул из пузырька, и подумала: верно, нитроглицерин, значит опять плохо себя чувствует. После ужина он подошел ко мне: «Вы оставайтесь, ты, верно, потанцуешь, а мне надо проехать хоть ненадолго к нашей молодежи в кружок, а то им будет обидно». Мы приехали домой почти одновременно и, сидя в столовой, обменивались впечатлениями о вечере, он как будто немного разошелся. Было четыре часа утра.

В половине седьмого я проснулась оттого, что тетя Маруся, проходя по моей комнате к маме, сказала: «Вставай, у дяди припадок». Я вскочила и побежала к нему в спальню. Он сидел в своем белом кресле, рубашка на груди у него была расстегнута. В первый раз я тогда увидела потом такое знакомое бледное страдающее лицо, с прилипшими ко лбу волосами, полуоткрытые синие губы. Он задыхался и громко стонал – так ему было легче дышать. Быстро пришли Л.Г. Левин с сыном²⁴ и немедленно стали делать ему вспрыскивания камфары, кофеина, морфия. Припадок был силен и продолжителен. Только к часу дня мученья прекратились,



М.А. Богуславская

и он смог лечь в постель и забыться. На следующий день припадок повторился, но захваченный вовремя, не был уже таким сильным, хотя все же был мучителен. Третий припадок через день был уже совсем слабый. С первого дня было учреждено дежурство врачей. Мы были встревожены, но главным образом, ужасно было видеть его страдания – мысль о гибели еще не приходила в голову.

Врачи единогласно требовали немедленного отдыха и отъезда на юг, и немного поправившись, дядя Шура с тетей Марусей стали собираться за границу, на юг Франции к теплу и морю. Припадки не повторялись, но чувствовал он себя уже не так уверенно, как раньше. Перед отъездом ему стало лучше: был ли это нервный подъем, или, может быть, его редкий организм мужественноправлялся с болезнью? И позже Лев Григорьевич часто говорил, как удивляет его сила, с которой дядя Шура сжимал ему руку, благодаря за помощь после сердечного припадка.

В феврале они уехали, грустно было провожать их, но утешала мысль, что так лучше, что там он может совсем поправиться. Уже с дороги стали приходить от тети Маруси радостные, утешительные весточки – ему определенно становилось лучше. Радостно писал он

Воспоминания М.А. Богуславской об А.И. Сумбатове-Южине

из Ниццы бодрые письма, хвастаясь, что совсем поправился и много работает над «Рафаэлем». За все время пребывания за границей у него не было ни одного припадка, несмотря на тяжелые известия, получаемые из Москвы о гибели Верочки Шухминой, кончине Е.К. Лешковской и В.Н. Давыдова.

Пробыв весну и часть осени в Ницце, дядя Шура и тетя Маруся собирались приехать в октябре, но задержались в Париже и приехали только 20 декабря 1925 г. Зима стояла не очень суровая, тем не менее мы боялись, что они могут простудиться, и захватили с собою на вокзал шубы. Поезд приходил в семь часов утра. Многие артисты собирались встречать их, поэтому к Малому театру был заказан трамвай (обычное движение начиналось слишком поздно). Но не всем было удобно идти к театру, и проезжая по Мещанской, мы видели много одиноких фигур, идущих по направлению к вокзалу, некоторые из них нас окликали. В результате на вокзале собралось столько народа, что начальник станции не разрешил идти всем на перрон, так как поезд подходил на второй путь, где платформа была очень узка. На первом пути стоял пустой поезд. На его ступеньках и площадках разместился оркестр, и когда показался поезд, каким-то образом все-таки проникли все на перрон. Поезд подошел, зазвучали трубы оркестра, и сквозь туман увидела я дядю Шуру, стоящего на площадке вагона; он не ожидал, что эта встреча для него, оглянулся удивленно и взволнованно, быстро снял шапку. «Наденьте, наденьте», – закричали ему. Он надел шляпу, спустился со ступенек и попал в объятия такие тесные и многочисленные, что я сумела добраться до него только уже у самого вокзала и, протискиваясь, успела расслышать, как он спросил: «А где же Мулька, здоровья она?». Долго он со всеми прощался, медленно усаживались мы в автомобиль, – наконец, поехали. Утро было ясное, морозное, было тихо от выпавшего за ночь снега. Народу на улице было мало. «Как я люблю утреннюю зимнюю Москву, – сказал он, – как я рад, что снова с вами, но я не жалею, что пробыл на юге, там было чудесно, и я прекрасно поправился». Хотя я сказала ему, что он выглядит отлично, вид его мне не понравился. Он сильно похудел, и благодаря этому выглядел старше, глаза были утомленные, все это меня беспокоило.

Первые дни прошли в каком-то веселом чаду. Двадцать четвертого декабря, в день моего рождения, дядя Шура, невероятно стройный и элегантный, в новом парижском костюме, даже что-то протанцевал со мной, чего прежде никогда не случалось, все время оживленно шутил,

был в прекрасном расположении духа. Но в последних числах декабря у него был длительный разговор в Наркомпросе с Яковлевой, который утомил и взволновал его²⁵. Следствием этого явился тридцатого декабря вечером припадок, не очень сильный, правда, но все же такой, что встать к встрече Нового года ему не было разрешено. Припадок повторился и на второй день Нового года. Опять начались дежурства врачей, по всей квартире распространился знакомый страшный нам запах эфира. Однако организм все еще боролся энергично, и дядя Шура сумел начать играть. Для своего первого выхода он выбрал «Горе от ума». Театр был заполнен знающей и любящей его публикой, встречали его поразительно тепло и торжественно. По инициативе В.В. Федорова сверху разбрасывались разноцветные листовочки. Было радостно, и хотелось верить, что болезнь и мучения отошли, и все пойдет по-старому.

Но в феврале месяце в «Вулкане» организовали концерт, на котором дядя Шура обязательно хотел выступать. Поехал он с трудом, даже просил К.М. Напалкова сопровождать его, так как чувствовал себя простиженным и слабым. По-видимому, там он простудился еще больше, но вернулся домой довольный тем, что переборол свое недомогание и не отказался от участия в концерте, не нарушив таким образом своего обещания.

Кажется, через день после этого он был занят в «Железной стене». В последнем антракте я зашла к нему в уборную. Он был один и ходил по комнате, потирая руки, взад-вперед, подошел к отоплению, потрогал его. «Ужасно холодно сегодня, ты не находишь?» – спросил он меня. Я удивилась и испугалась, в уборной было почти жарко, и последний акт смотрела уже со страхом, боясь, не захворал ли он. Но домой он приехал веселый, мы стали даже играть в карты. «А ну, Константин Михайлович²⁶, сказал он, посмотрите-ка у меня пульс». Константин Михайлович пощупал пульс, предложил: «Давайте-ка мы, Александр Иванович, температурку смерим». «То-то я чувствую, меня что-то познабливает, но думал, это насморочное состояние». Константин Михайлович настоял, чтобы дядя Шура немедленно лег в постель. Мы встревожились, но ночь прошла спокойно, и утром температура спала. К вечеру жар усилился тоже, обычные хрипы стали слышаться яснее. Ночью начался припадок, длившийся довольно долго. Наутро температура была уже очень высока, и припадок снова повторился. Врачи определили крупозное воспаление легких. Начались невероятные муки, как только ликвидировался один очаг, сейчас же открывался новый, и так могло длиться еще очень долго.

Воспоминания М.А. Богуславской об А.И. Сумбатове-Южине



М.А. Богуславская. Щелыково. 1970-е

Лечь он не мог совершенно, так как лежа задыхался, а от сидения отекали ноги, так что это становилось опасно, уже не переставая, он выплевывал кровь, временами немного бредил. Кислородных подушек не хватало, привозили кислород от Феррейна прямо баллонами, и баллона не хватало ему на сутки. Дежурство врачей было бессменно, несколько раз собирался консилиум.

Первые дни мы еще пробовали вывозить его в кресле в кабинет, так как думали, что там будет легче дышать, но скоро и это стало невозможным. На одиннадцатый день положение его было объявлено безнадежным. В нашей квартире было много народа, не помню кто, кажется, это был вечер, потому что, мне помнится, горели лампы. Из его спальни слышались непрекращающиеся стонсы, прерываемые сухим кашлем. Вспрыскивания делались уже ежечасно, и жевать камфару, как вначале, он уже не мог.

После двенадцати часов ночи он позвал меня к себе: «Не плачь и не волнуйся, проговорил он (это было после вспрыскивания камфары, и ему было немного легче), если мне не суждено дольше жить с вами, старайся быть всегда такой, какой я всегда хотел тебя видеть: твердой, мужественной, умной. Помни, что с тобой остаются мама и тетя Маруся, которым ты должна быть опорой... Перед тобой вся жизнь, пользуйся

ею, умей быть бодрой, светлой. Бог не судил нам две жизни, я прожил свое и смерти не боюсь».

Он говорил отдельно со всеми нами. Вскоре опять начался бред. «Да здравствует великий русский театр», – вдруг громко сказал он среди неясного бормотания. Почти ежеминутно уже мучали его уколами; грудь, руки, спина – все было искалого, и колоть было уже некуда. Он просил не мучить его и оставить умереть спокойно. Положение было настолько безнадежно, что я просила Константина Михайловича прекратить уколы и только давать ему морфия, чтобы утишить мучения. «Не могу, не имею права», – сказал Константин Михайлович и был прав. Пробовали все средства – давали шампанское, но он не мог его пить; экономя участки, куда еще можно было сделать вспрыскивание, через одну иглу пропускали по два шприца. К трем часам утра дядя Шура потребовал священника, и мы все вышли из комнаты. После его ухода дядя Шура как бы немного забылся и вдруг уже на рассвете он как-то приподнял опущенную голову и сказал: «Константин Михайлович, а ведь я, кажется, выкарабкался на этот раз». Это была правда. Померили температуру – она была почти нормальна, одышки не было, и если надеяться, что это был последний очаг, можно было рассчитывать на выздоровление.

Меня уговарили пойти прилечь, пока можно. Я прошла к себе и повалилась на постель одетая (уже много ночей мы все не раздевались), как-то сразу заснула. Проснулась со страшным чувством, не веря вчерашнему улучшению, но мама вошла и с радостным лицом сказала: «Лучше ему, несомненно лучше». Я не поверила и побежала в спальню: дядя Шура впервые за много дней лежал в кровати высоко на подушках, не стонал, лицо его было бледно, дыхание, которое мы привыкли считать, стало не таким частым. Кризис действительно миновал.

Однако опасность не прошла окончательно. Чрез день начался какой-то новый, странный процесс: страшно возбужденное состояние и непрерывный бред. Опять он не мог лечь в постель и постоянно порывался встать с кресла и идти куда-то. Помню, сидел он в спальне, лампа была завешена темным, чтобы его не беспокоил и не возбуждал свет, я сидела рядом с ним и на вытянутых руках держала подушку, на которую он время от времени склонял голову; то он забывался, то опять начинал говорить бессвязные слова, и было страшно, что это начинается какая-то новая, неизвестная болезнь. Но врачи определили только отравление лекарствами и уверяли, что это скоро должно пройти, и действительно, такое состояние продолжалось менее суток. Наступало

Воспоминания М.А. Богуславской об А.И. Сумбатове-Южине

медленное выздоровление. Это был один из самых счастливых периодов моей жизни. Дядя Шура возвращался к жизни, после того как мы уже потеряли всякую надежду на благополучный исход. В его спальне сосредотачивалась жизнь всего нашего дома, с восторгом смотрели мы, как он с аппетитом кушал борщок или легкие сэндвичи со свежей икрой. И тут он завел систему: вписывал в книгу, в котором часу ему надо принимать лекарство, когда есть, когда вспрыскивать камфору с морфием. Он верил, что с теплом и солнцем к нему вернутся силы, и мы радостно сообщали ему о каждом весеннем луче.

Когда выздоровление стало несомненным, ему сказали, что он перенес ползучее гриппозное воспаление легких, так как раньше, боясь, что такое сообщение может раз волновать его, говорили, что это простой грипп. И он очень гордился тем, каким молодцом перенес он эту тяжелую болезнь: «Значит, у меня не такое изношенное сердце, что оно так энергично сопротивлялось болезни».

Вспоминал, как в самые трудные дни он делал руками какие-то странные движения, точно снимал с себя что-то, и говорил, что понимает теперь, отчего в простонародье есть выражение, что умирающий «обирает себя».

Слабость была еще очень велика, при малейшем движении усиливалась мучившая его одышка. Ужасно тяжело было смотреть, как он, непременно желая быть на юбилее А.В. Луначарского²⁷, надел фрак, хотел выйти в переднюю, чтобы ехать в театр, и не смог – задохнулся и опустился в кресло.

Надо было ехать лечиться, и дядя Шура с тетей Марусей решили на этот раз ехать в Кисловодск. С ними поехал и Константин Михайлович, без которого дядя Шура еще не решался предпринимать этот путь. Впрочем, дорога прошла вполне благополучно, да и в Кисловодске все шло хорошо, и силы понемногу восстанавливались. Я приехала к ним в августе и поселилась в одной с ними комнате, за ширмой. Почти каждое утро слышала я, как он просыпался от одышки, надевал пижаму и выходил на балкон, я тревожно следила за ним, боясь, что обычная одышка может перейти в припадок, как это случалось. «Что ты не спишь, мышонок, – говорил он шепотом, чтобы не разбудить тетю Марусю, если она еще спала, – рано еще». – «А тебе ничего?». – «Нет, ничего, обычное только».... В кресле на балконе ему становилось легче, перед едой ему делали вспрysкивания, и кофе мы пили уже спокойно. Он терпеть не мог вокруг себя «кислых лиц», как он говорил, и поэтому я всегда, вставая,

старалась его чем-нибудь рассмешить или развеселить, чтобы отвлечь его от мыслей о своем здоровье. Не всегда мне это удавалось. Даже когда ему было действительно нехорошо, мы старались делать бодрые лица, чтобы отвлечь его мысли от возможного припадка, но он говорил: «Не успокаивайте меня, пожалуйста, не люблю я этого». Как я ни старалась уверить себя в противном, разница между его самочувствием в двадцать четвертом году и в двадцать шестом чувствовалась очень сильно. После воспаления легких он настолько похудел, что даже гордился своей стройностью, но взбираться на Царскую площадку, как два года назад, он был не в силах и прогуливался только до библиотеки и обратно.

В то лето у него резко понизился аппетит, с трудом ему удавалось проглотить утром стакан кофе с пирожком и вместо обеда съесть немного кебаба с барбарилем (это он ел еще без особенного отвращения). Когда я уезжала в конце августа, дядя Шура чувствовал себя хорошо, но семнадцатого сентября, в день его рождения, его опять измучил припадок сильный. В Кисловодске стало холодно и снежно, и раньше предложенного срока дядя Шура с тетей Марусей вернулись в Москву. После припадка семнадцатого сентября дядя Шура все еще чувствовал себя неуверенно, и Константин Михайлович опять стал ночевать у нас почти ежедневно. Играли дядя Шура мало, выходил из дома редко. Каждый вечер мы играли в гостиной, куда был перенесен его письменный стол из кабинета, так как было тут теплее, в нарды, иногда в карты. В ноябре месяце ему пришлось проехать в Кремль к Рыкову для переговоров по вопросу об авторском праве. Как нарочно, лифт в Совнаркому был испорчен, и ему пришлось подняться пешком. Войдя в приемную, он сильно задохся, и одышка не сразу его отпустила, и вернувшись домой, он почувствовал себя совсем больным. Все же седьмого декабря, в Екатеринин день, он в последний раз играл Фамусова. Это были мамины именины, и я не могла пойти в театр, так как должна была дома помогать ей. Он вернулся со спектакля усталый и сосредоточенный и рассказывал, что играть ему было трудно, и спектакль он довел до конца только усилием воли. При выходе в первом акте он в первый раз обрадовался аплодисментам, которыми его встретили, так как это дало ему возможность не сразу начать говорить и перевести дух.

С этого дня врачи запретили ему выходить из дома до весны, и он созывал заседания Художественного совета и Общества драматических писателей у себя на дому, писал «Рафаэля», но из квартиры никуда не выезжал. Выходя из спальни в кабинет, начинал задыхаться

Воспоминания М.А. Богуславской об А.И. Сумбатове-Южине

и неизвестно где и как легко простуживался, схватывал насморк, и появлялись хрипы в легких. После Рождества, как-то ночью, с ним сделался опять сильный припадок, после которого наступило резкое ухудшение болезни. День ото дня дышать ему становилось труднее, постоянно возле него лежала подушка с кислородом, к которой он часто прикладывался. Однажды, когда я пришла домой со службы, уже в передней я услышала его ужасные стоны. Доктор тогда дежурил постоянно и днем, но ничем не мог облегчить его страданий.

Мучился он ужасно, дыхания не было совсем, он жадно высасывал подушку за подушкой, и все не помогало. И еще раз его положение было объявлено безнадежным. Но к вечеру организм как-то переборол болезнь, справился – стало легче.

Он стал мечтать о заграничной поездке туда же, на юг Франции, где в тот раз он так хорошо себя чувствовал, и решено было, что это желание его надо выполнить во что бы то ни стало. Начались хлопоты о визах и паспортах, особенно задерживался паспорт К.М. Напалкова, который должен был сопровождать дядю Шуру до самого места назначения и сдать врачу с рук на руки для постоянного наблюдения. Как только мысль о поездке стала реальной, дядя Шура определенно начал поправляться. Но все же хорошее состояние здоровья было относительным. В пасхальную ночь он не мог выйти в столовую, а в кабинет к нему, где он последнее время жил, был принесен накрытый столик, поставлены крашеные яйца, куличи, пасха и ветчина. Он оделся в свой светлый костюм, побрился и причесался попаранднее. Я подошла к нему, похристосовалась, и мне страшно стало при взгляде на его лицо: оно было каким-то особенным, просветленным, но чужим, не интересующимся ничем внешним. Я хотела побывать с ним, но он сказал мне: «Иди, детка, веселись, будь со всеми, я лучше побуду один». Все это время мы попеременно дежурили около него, чтобы ни на секунду ни днем ни ночью не оставлять его одного. Его мучило, что мы устаем, но и оставаться одному было неприятно.

За несколько дней до их отъезда за границу я вышла замуж. Вечером собрались к нам родные и кое-кто из моих друзей. Дядя Шура был в прекрасном настроении, выходил в столовую, смеялся и шутил и нескоро ушел к себе.

Через несколько дней был назначен отъезд, и нас очень страшило то, как дядя Шура доберется до вокзала, не ослабит ли его воздух – ведь с ноября²⁸ месяца по июнь он не выходил из дома совершенно.

Но так же, как обычно, перед отъездом дядя Шура аккуратно переписывал в книжечку все, что брал с собой, от книг, бумаги до сапог и булавок, и сам непосредственно руководил нами при укладке, подъем ощущался во всем. Наступил час отъезда, он простился с остающимися, спокойно надел пальто, фуражку, взял в руки палку и так легко и сравнительно быстро спустился к ожидающему внизу автомобилю, что мы только удивлялись; и приехав на вокзал, он прошел со всеми на перрон, где сел на скамейку, ожидая, пока будут пропускать в вагон. Было грустно, как всегда при отъезде, но так верилось вместе с ним, что южный климат, море помогут ему, облегчат его болезнь, что не приходили в голову никакие «дурные предчувствия». Радостно было, что исполнилось его желание, и он уезжает, твердо веря в полное восстановление своих сил. Еще раз простились, и они уехали. Из Берлина от тети Маруси пришло письмо, сообщавшее, что дядя Шура сам ходил в банк за кредитом – и невероятным казалось, что это мог сделать тот же самый дядя Шура, который не мог без одышки перейти двух комнат. Из дальнейших писем тети Маруси мы узнавали, что они благополучно доехали до Парижа и добрались, наконец, до цели своего путешествия – прекрасно устроились в пансионе доктора Винтерфельда в Жуан-ле-Пене. Мы понемногу успокаивались, и верилось в чудодейственную силу прекрасного климата и спокойной жизни, и хотя временами невыносимо тяжела была вынужденная разобщенность с ним, – сознание, что ему хорошо, заглушало все остальное.

Но долго все не могло идти спокойно. В «Рабочей газете» появилась гнусная заметка «Вопрос Южину» о том, как он решился присоединить свой голос к поздравлениям эмигрантской актрисе Рошиной-Инсаровой в день ее юбилея. А через два дня и не менее, если не более еще гнусный перечень заявлений некоторых московских театров, «отмежевавшихся» от поступка Южина. Мы взмолнивались этой гадостью и не знали, как быть, сообщать об этом дяде Шуре или нет. Но дирекция Малого театра настаивала на непременной информации, и я послала эту статью в Жуан-ле-Пен. Но когда мы получили блестящий «ответ» на «вопрос», то несмотря на все наши усилия заставить редакцию «Рабочей газеты» поместить ответ на страницах газеты, мы это добиться не сумели. По счастью, из последнего письма дяди Шуры ко мне я узнала, что он не придал всей этой скверной истории никакого значения, и по-видимому, она не отразилась на его здоровье. Волновались мы также и тем, что на него может сильно повлиять землетрясение в Крыму, так

Воспоминания М.А. Богуславской об А.И. Сумбатове-Южине

как дядя Володя был в то время там, но скоро пришли письма, которые нас вполне успокоили.

Как будто бы, судя по этим фактам, можно было надеяться, что здоровье его восстанавливается, и сердце не реагирует на неприятные и волнующие известия.

И семнадцатого сентября, в день его рождения, мы с мамой весело поздравили друг друга и ожидали получить в этот день такие же радостные и спокойные письма, какие мы получали все время.

Но вечером, когда мне позвонил Василий Васильевич²⁹, секретарь Александра Ивановича, и спросил, можно ли сейчас приехать к нам, какой-то страх толкнулся в сердце, а когда я увидела его через десять минут в нашей столовой, – я поняла, что спрашивать уже больше не о чем.

Публикация и комментарии А.Ю. Корфа

¹ Правильно – Малопокровское (Тиньково, Лачиново), ныне с. Малая Покровка Воронежской обл.

² Позднее – Л.А. Файко (примечание М.А. Богуславской).

³ «Можно войти?» (*франц.*).

⁴ «Входи, моя малышка» (*франц.*).

⁵ «Подожди немного» (*франц.*).

⁶ Лорие Федор Антонович (1858–1920), владелец фабрики и магазина ювелирных украшений и изделий из золота и серебра.

⁷ Урожденная Доброва.

⁸ Записная книжка (*франц.*).

⁹ Елена Генриховна Беретро, француженка-гouvernантка, впоследствии – жена Александра Александровича Ленского; овдовев, вернулась во Францию.

¹⁰ Барон Николай Юрьевич Корф (1906–1946), племянник княгини М.Н. Сумбатовой.

¹¹ Гаевская Вера Николаевна (1861–1938), сестра княгини М.Н. Сумбатовой.

¹² «Пожалуйста, ветчина вы мне мое пальто»; вероятно, вместо *schinken* подразумевалось *schenken* (оказывать, *нем.*).

- ¹³ Мама же до последнего времени говорила: «Терпеть не могу пьес, где Шура играет мерзавцев», а когда в последней сцене «Макбета» выносили на сцену голову дяди Шуры, прекрасно слепленную Сасиком (Александром Александровичем) Ленским, мама роняла платок и нагибалась, чтобы не смотреть на сцену (примечание М.А. Богуславской).
- ¹⁴ Балашова Александра Михайловна (1887–1979), балерина.
- ¹⁵ Пашенная (примечание М.А. Богуславской).
- ¹⁶ Московский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, название после октября 1917 г.
- ¹⁷ Работа Огюста Родена.
- ¹⁸ Центральная театральная секция Главного художественного комитета Академического центра Наркомпроса, создана на основе ТЕО (театрального отдела) Наркомпроса.
- ¹⁹ Остужев (примечание М.А. Богуславской).
- ²⁰ Воздыхателей.
- ²¹ По юлианскому календарю.
- ²² Литературно-художественный кружок.
- ²³ Видимо, С.А. Головин, один из ближайших сподвижников Александра Ивановича.
- ²⁴ Врачи Левин Лев Григорьевич (1870–1938) и Георгий Львович (род. 1900). В 1932 г. Л.Г. Левин отказался подписать фальшивое заключение о смерти жены Сталина Надежды Аллилуевой от аппендицита – в марте 1938 г. на бухаринском процессе был приговорен к расстрелу; Г.Л. Левин был арестован в конце 1940-х по Делу врачей, в 1954 г. вернулся из заключения в Норильлаге.
- ²⁵ Яковлева Варвара Николаевна (1884/85–1941), заместитель наркома по просвещению; различие между ее и А.В. Луначарского отношением к Александру Ивановичу явно следует из ее биографии: член коллегии ВЧК, председатель Петроградской ЧК и т.п.
- ²⁶ Напалков.
- ²⁷ Отмечался в начале 1926 г.
- ²⁸ Видимо, имеется в виду Екатеринин день по юлианскому календарю.
- ²⁹ Федоров.